



Белая ночь правды над Мойкой



Владимир Кожедеев

Владимир Кожедеев

Белая ночь правды над Мойкой

<https://litres.ru/73989168>

SelfPub; 2026

Аннотация

Санкт-Петербург, конец XIX века. Белые ночи мучают горожан бессонницей, а в каналах находят утопленников — всё чаще, всё страннее. У каждого на груди записка: «Должник».

Коллежский секретарь, отставной околоточный надзиратель Иван Бываев — человек, который три года назад был вышвырнут со службы за правду. Он живёт в нищете, жена пилит, друзей не осталось. Случайная встреча в кустах сирени у трактира «Золотой якорь» втягивает его в расследование, которое потрясёт основы империи.

Ростовщики, убийцы, коррумпированные чиновники, продажные полицейские — паутина заговора опутывает весь Петербург. Наверху — князья и министры, внизу — утопленники, которых некому защитить.

Бываеву предстоит пройти через избиения, покушения, газетную травлю, предательство близких — и не сломаться. Потому что он знает: правда дороже чинов. Потому что за ним — двенадцать безмолвных утопленников, требующих справедливости.

Сможет ли один человек противостоять системе? И какой ценой?

Содержание

Глава 1.	5
Глава 2.	17
Глава 3.	25
Глава 4.	35
Глава 5.	44
Глава 6.	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Владимир Кожедеев

Белая ночь правды над Мойкой

Глава 1.

Санкт-Петербург, конец XIX века, июнь. Белых ночей бесконечная муть.

Небо над Мойкой напоминало грязный больничный бинт — вроде бы белый, а присмотришься: желтизна, серость, какая-то сливочная тошнотворность. Солнце закатилось за Адмиралтейство ещё три часа назад, но тьма так и не пришла. Вместо неё повисли сумерки, липкие, как варенье, — петербургская ночь, которая не ночь, а издевательство над биологическими часами человека.

Иван Алексеевич Бываев вышел из трактира «Золотой якорь» на Мойке, 47, с тем особенным, тягучим ощущением, когда голова ещё помнит каждую рюмку, а ноги уже живут своей, более трезвой жизнью. «Якорь» был местом не для господ — для среднего звания: отставных военных, мелких чиновников, приказчиков с Гостиного двора. Пахло здесь щами, перегаром и застарелой обидой на жизнь. Бываев заживал сюда ровно два раза в неделю, по вторникам и пят-

ницам, чтобы ровно на два глотка переступить черту, за которой начиналось забвение, — но никогда не переступал её полностью.

Он не был пьян. Нет, коллежский секретарь, отставной околоточный надзиратель 3-го квартала Казанской части, позволял себе ровно на два глотка меньше, чем требовалось для потери чувства собственного достоинства. Это была привычка, выработанная годами: пить, но не терять контроля. Иначе — зарежут в переулке. Или, того хуже, оберут до нитки, а наутро придётся объяснять приставу, почему казённый револьвер утерян, а из кошелька исчезли последние три рубля, которые жена отложила на дрова.

Жена. Матрёна Семёновна. Бываев поморщился, будто от зубной боли, и машинально потрогал внутренний карман пиджака — там лежало письмо, которое он носил с собой уже три недели, не решаясь ни порвать, ни перечитать. Придёт домой — опять скандал. «Где был? Опять в “Якоре”? Ах ты блудодей! Ах ты прощельга! Дети, не евши, в квартире градуса три, а он по трактирам шляется!» Детей, правда, у них не было — Господь не дал, за что Матрёна Семёновна винила исключительно мужа и его «непотребное поведение». Но это не мешало ей использовать аргумент с детьми при каждом удобном случае.

Воздух после душного зала ударил в виски сладкой гнильцой каналов — смесью водорослей, конского навоза и сточных вод, которые в июне прогревались особенно охотно. Бы-

ваева потянуло к кустам. Не от праздного любопытства. От физиологии.

Кусты у Гагаринской набережной — буйная, нечёсаная сирень, посаженная ещё при Николае Павловиче, — стояли тёмной стеной, пахли землёй и чем-то забыто-деревенским. Здесь, между Мойкой и Екатерининским каналом, была зона глухая, полузаброшенная: старые склады, доходные дома с облупившейся штукатуркой, два питейных заведения. Место для порядочного человека — гиблое, но удобное для дел, о которых не говорят вслух.

Бываев нырнул в сиреневую тень с единственной, прозаической целью: облегчить мочевого пузырь, который последние полчаса подавал сигналы столь настойчиво, что даже философские размышления о несправедливости бытия уступали место физиологии. Он делал то, что делали в ту пору все мужчины в кустах, когда до уборной было далеко, а совесть — близко. Ничего постыдного. Закон Российской империи, строгий к убийцам и ворами, к таким мелочам относился снисходительно — при условии, что тебя не поймают городской.

И вот — судьба щёлкает по носу именно в такие минуты. Сзади раздался шорох, затем — звучное, оскорблённое «Кхм!», от которого у Бываева похолодели лопатки. Он обернулся, ещё не успев привести себя в порядок, и увидел его.

Личность возникла из сиреневой тьмы, словно материа-

лизовалась из дурного сна обер-полицмейстера. Невысокий, плотный, в сюртуке из добротного, но затасканного сукна — такой чёрный цвет со временем приобретает оттенок мокрой галки, — с цилиндром на затылке и лицом, напоминающим мокрую подушку: одутловатым, обиженным, с заплывшими глазками. На левом лацкане его одежды поблёскивало свежее влажное пятно. Несколько капель — не больше. Чисто техническое попадание, о котором в другом месте и при других обстоятельствах можно было бы даже не упоминать.

Но обстоятельства были не другие.

— Милостивый государь, — произнёс тип голосом, в котором дребезжали одновременно и обида, и злорадство, и тяжба на пять рублей. — Вы на меня попали.

Бываев медленно, со спокойствием бывшего служителя закона, застегнул пуговицы. В движениях его чувствовалась выучка: ни суеты, ни вызова. Многолетняя привычка разнимать драки на Сенной приучила к одному правилу — никогда не показывать страх и никогда не лезть в драку первым.

— Прошу прощения, — сказал он сухо. — Не заметил.

— Не заметили? — Тип воздел руки к белесому небу. — Он не заметил! Ах, господа! — Он обернулся в темноту, откуда доносились приглушённые голоса и смех. — Друзья! Сюда! Сюда, ради Бога!

Из-за угла, откуда пахло дешёвым табаком и ещё чем-то кислым, показались двое — такие же плотные, такие же в цилиндрах, с лицами людей, которые ищут ссоры, как иные

ищут грибы: систематически и с удовольствием. Первым шёл рыжий, с бакенбардами-лопатами, в жилетке поверх косоворотки — явно из купцов. Второй — тощий, чернявый, с подвязанной щекой и подозрительным прищуром; в такие глаза лучше не смотреть, если не хочешь потом найти пропажу из кармана.

— Что случилось, Митрофан Семёныч? — спросил рыжий, лениво перетирая в кулаке какую-то мелкую монету.

— Он, — палец типа, которого назвали Митрофаном Семёнычем, ткнул в сторону Бываева, — облегчился на меня. Стоял в кустах — и прямо на меня! Это аморалка, господа! Я требую компенсации! За оскорбление чести и за порчу сюртука от лучшего портного с Невского!

Бываев перевёл взгляд с пятна на лацкане на пуговицы. Дешёвые, костяные, с чужого мундира — явно снятые с какого-нибудь отставного чиновника. На сапоги — стоптанные, с заплаткой у носка, лакировка давно облезла. «Лучший портной с Невского» — это как «лучший извозчик на Сенной»: громко, но нищему. Бываев знал эту публику. Шулера, мелкие уличные вымогатели, охотники за «ослиными пятнами» — так в обиходе называли наивных горожан, с которых можно содрать штраф за вымышленное оскорбление.

— Сударь, — спокойно произнёс Бываев, убирая руки в карманы и незаметно проверяя, на месте ли складной нож — старый друг, подаренный ещё при уходе со службы. — Во-первых, вы стояли ко мне спиной и на расстоянии трёх

шагов. Попасть в вас, находясь в кустах с такой целью, — это не оскорбление, а баллистическое чудо. Во-вторых, вы подошли после. В-третьих, сударь, — Бываев слегка наклонил голову, — сюртук ваш шит, прости Господи, в подвале на Разъезжей, и пуговицы — с мундира титулярного советника Дубровского, который проиграл их вашему приятелю в штоф два месяца назад. Я знаю Дубровского. Хороший человек, но слаб на заклад.

Митрофан Семёныч побледнел. Побледнел так быстро, что стал похож на творожный сырок. Рыжий перестал жевать монету.

— То есть вы не отрицаете факта? — выдавил из себя Митрофан. — Вы признаётесь?

— Я отрицаю умысел. И предлагаю вам разойтись с миром. По-хорошему.

— По-хорошему? — Рыжий шагнул вперёд, разминая кулаки. Кулаки у него были что твои гири — сбитые костяшки, мозоли от физической работы или от драчных столбняков. — Слышь, Митрофан Семёныч, он ещё храбрится. Давай мы его, для порядка, в канаву опустим. А кошелёк — за моральный ущерб.

Чернявый с подвязанной щекой молча достал из-за голенища сапога короткую дубинку — свинчатку, обмотанную кожей. Взмахнул ею, пробуя баланс.

Бываев вздохнул. Вздох этот был долгим, содержательным, как тире между прошлым и будущим.

Предыстория.

Три года назад, ровно три года, как он уволился. И уволился не по своей воле — если быть честным до конца, а Бываев старался быть честным хотя бы перед собой в час перед сном. Тогда он был околоточным надзирателем в Казанской части, на хорошем счету у пристава Шереметева. Ходил в форме, имел право носить оружие, получал жалованье — 28 рублей в месяц плюс квартирные. Жил с Матрёной на Фонарном переулке, снимал две комнаты за восемь рублей. Не рай, но и не дно.

Всё рухнуло в одну ночь.

Ему поручили дело — не громкое, не столичное, так, пуштяк. Воровство со взломом в лавке купца Бочарова на Садовой. Украли шелка, табак, чай — всего на триста рублей. Дело для полиции сезонное, дежурное. Но Бываев, копая, наткнулся на странное: следы вели не к обычным ворам с Лиговки, а к дому чиновника особых поручений при градоначальнике — некоего Кандидова. Человека с титулом и связями. Бываев доложил, как есть — по форме, по инструкции, без намёков.

Наутро его вызвал сам пристав Шереметев. Старый служака с орденом св. Станислава на шее, человек прямой и неглупый, в этот раз выглядел так, будто его заставили съестьдохлую крысу.

— Бываев, — сказал он, закрывая дверь кабинета. — Я тебя ценю. Ты хороший надзиратель. Но поезд твой ушёл. Кан-

дидов — племянник товарища министра внутренних дел. Ты его зацепил. Он требует твоей головы. Я могу предложить тебе два варианта: уйти по собственному желанию сегодня, до обеда, или через две недели тебя вышвырнут с волчьим билетом — ни в какую полицию больше не возьмут, даже в захолустье.

Бываев стоял, вытянувшись во фрунт, и молчал. В душе его ворочалось что-то тяжёлое, похожее на то, что чувствует человек, когда у него отнимают единственное, что он умеет делать. Служба — это не просто жалованье. Это форма, это доверие, это ощущение, что ты — часть порядка, который держит этот безумный город на плаву. А без этого — кто ты? Так, никто. Коллежский секретарь в отставке, незаметный человечек с больными почками и вечно пьяной от скандалов женой.

— Пишите рапорт, ваше высокоблагородие, — сказал он глухо.

Через три часа он вышел из участка в штатском. Фальшивый блеск белой ночи ударил в глаза, и Бываев вдруг понял, что три года жизни, отданные Казанской части, не стоят ровно ничего. И что он, Иван Алексеевич Бываев, ровно с этой минуты перестал быть частью чего-то и стал просто человеком, которого можно безнаказанно ударить в переулке.

Матрёна не поняла. Она вообще мало что понимала в его делах. «Сам виноват! — кричала она, брызгая слюной. — Не надо было лезть куда не просят! Теперь сиди без работы,

дармоед! Дрова покупать не на что, а он, видите ли, правду искал! Правдоискатель, прости Господи!» Ссора та длилась три дня. На четвёртый Матрёна собрала вещи и уехала к сестре в Царское Село — «пока одумаешься». Одумался ли Бываев? Нет. Но с тех пор между ними пролегла трещина, которая с каждым месяцем становилась только шире. Жена вернулась, но уже другой — холодной, расчётливой, видящей в муже не человека, а обузу. Каждый вечер: «Где был?», «Почему поздно?», «Опять нюхал табачище?». Каждая копейка — под учёт. Каждое слово — как нож.

За три года он перепробовал всё: служил конторщиком в страховом обществе (уволители за неуживчивость), торговал вразнос вениками (не пошло — гордость не позволяла кричать на всю улицу), писал прошения за неграмотных (три копейки за штуку, едва хватало на хлеб). Последние полгода — ничего. Жил на то, что удавалось выпросить у бывших сослуживцев, благо старые связи ещё кое-что значили.

И вот — кусты, Митрофан Семёныч и свинчатка в руке чернявого.

Бываев не стал спорить. Не стал доказывать. Он просто сделал шаг назад, потом второй — и через секунду уже нёсся по Гагаринской быстрым, чеканным шагом, который остаётся у человека, привыкшего и преследовать, и убежать. Сапоги глухо стучали по бревенчатой мостовой — деревянные торцы, уложенные ещё при Александре II, издавали звук, похожий на барабанную дробь.

Сзади несло хриплое:

— Держи его! Держи вора! Стой, морда!

Бываев бежал, чувствуя, как колотится сердце где-то в горле, как противная июньская духота облепляет рубаху. Он свернул в Гагаринский переулок, потом направо — к набережной. Рыжий дышал в спину, но тяжело, с присвистом — курильщик. Чернявый отстал. Митрофан Семёныч бежал последним, размахивая цилиндром, как флагом поражения.

Окрик «Держи вора!» сработал — двое прохожих на углу Каменного острова замерли, один даже протянул руку. Бываев вильнул, пересёк улицу, чуть не сбив какую-то даму с зонтиком (дама взвизгнула, зонтик упал в грязь), и увидел *его*.

Конно-железный вагон — конка, «трамвай» на конной тяге, как уже поговаривали в народе, — плавно выкатывался из-за поворота с Большой Конюшенной. Жёлтый, с гербом Санкт-Петербурга на борту — двуглавый орёл под императорской короной, — запряжённый парой гнедых лошадей, лениво перебирающих копытами. Вагон номер семь, маршрут «Адмиралтейство — Лиговка». Конец девяностых годов, а конка всё ещё была главным средством передвижения для бедных и средних: электрический трамвай только начинали обсуждать в Городской думе, и скептиков было больше, чем сторонников.

Вагон держался на стальных рельсах, утопленных в брусчатку, имел две оси, открытые площадки спереди и сзади и

деревянные скамьи внутри. Скорость — как у хорошей коляски: около восьми вёрст в час. Для беглеца — спасение.

Бываев рванул наперерез. Подножка мелькнула медной полосой. Он ухватился за поручень, подтянулся — и оказался на задней площадке как раз в тот момент, когда кондуктор, пожилой усатый мужчина в синем картузе с бляхой, закричал:

— Эй, ты, с ума сошёл? Слезай, задавят!

Но Бываев уже нырнул внутрь.

В вагоне пахло лошадьми, дёгтем и дешёвыми духами. Горели две масляные лампы, слабо освещая лица пассажиров — человек десять, в основном приказчики да мещанки с корзинками. Все уставились на запыхавшегося человека в расстёгнутом пиджаке.

Кондуктор засвистел в медный свисток — требовательно, зло. Лошади вздрогнули и прибавили ходу. Кучер хлестнул вожжами, и вагон, громыхая на стыках рельсов, покатил быстрее.

Бываев выглянул в окно. Погоня осталась на углу: рыжий стоял, уперев руки в бока, чернявый плевался, а Митрофан Семёныч, этот главный оскорблённый поручик без поручика, тряс кулаком и, кажется, плакал от бессилия. Их фигуры уменьшались, таяли в белесой мути белой ночи, и вдруг Бываеву стало их почти жаль.

Ненадолго.

— Платите за проезд, сударь, — раздался над ухом голос

кондуктора. — Две копейки. Или выходите на следующей остановке.

Бываев полез в карман. Три рубля — всё, что осталось от вчерашнего займа у знакомого фельдшера. Завтра — снова скандал с Матрёной, снова «прощельга и блудодей», снова молчаливое бегство в «Золотой якорь». Но сейчас, в этот момент, когда вагон грохотал по ночному городу, а за окном проплывали мокрые от росы набережные, Бываев вдруг почувствовал странное, давно забытое облегчение.

Он был жив. Он ушёл. И это уже было маленькой победой.

Кондуктор получил свои две копейки, буркнул что-то неодобрительное и отошёл. Бываев опустил на скамью, вытер пот со лба и закрыл глаза. Вагон качало, как колыбель. Белая ночь за окном светила фальшивым, ненастоящим светом — тем самым, который доводит петербуржцев до безумия, сводит с ума, заставляет совершать глупости.

Но Бываев не был сумасшедшим. Он просто бежал. И, как показало время, бежал не напрасно.

Глава 2.

Вагон конки, громыхая на стыках рельсов, вывез Бываева на Невский проспект. Белая ночь здесь казалась ещё фальшивее — газовые фонари горели бледно-жёлтым, но толку от них было мало, потому что сверху лился тот самый ровный, бесплотный свет, который не давал спать, сходиться теням и рождал в душах петербуржцев смутную тревогу.

Бываев сошёл у Гостиного двора. Ноги несли его домой — на Фонарный переулок, в ту самую квартиру, где его ждали три рубля в кармане, немытая посуда в раковине и Матрёна Семёновна с её вечным, не стихающим, как канальная вода, недовольством.

Он шёл не спеша. Торопиться было некуда. И незачем.

Фонарный переулок в ту пору был местом глухим, захламленным, хотя и находился в двух шагах от Мойки. Дома здесь стояли старые, ещё екатерининские, с толстыми стенами и глубокими подвалами, где ютились дворники и прачки. Мостовая — булыжная, с выбоинами, в которых после каждого дождя зацветала зелень. Воздух — плотный, с привкусом щей из кухмистерских и кошачьей мочи из подворотен.

Дом номер двенадцать, где Бываев снимал две комнаты на втором этаже, принадлежал купчихе Толоконниковой — женщине грузной, скупой и нервной, как незаседланная лошадь. Она жила этажом ниже, постоянно приноживалась к

запахам и требовала платить за квартиру строго первого числа, ни днём позже. Третьего июня Бываев просрочил уже на три дня. И знал, что сегодняшней вечер не пройдёт гладко.

Чёрная лестница встретила его привычным букетом: кислой капустой, мышами и запустением. Ступени скрипели под ногами, перила шатались. На площадке второго этажа горела керосиновая лампочка — тусклая, коптящая, с рваным фитилём. Бываев достал ключ, долго возился с замком (тот заедал со времен царя Гороха) и наконец вошёл.

В прихожей было темно. Пахло старым табаком, сушёной рыбой и ещё чем-то сладковато-приторным — ладаном, что ли? Матрёна в последнее время пристрастилась к молитвам. Ходила в Казанский собор, ставила свечи за здоровье врагов, а дома шептала псалмы, глядя в угол. Бываев подозревал, что жена молится о том, чтобы он поскорее отдал Богу душу, — и тогда она получит его небольшие сбережения и, наконец, заживёт спокойно. Но доказательств не было.

Он снял сапоги, прошлёпал в чулках в комнату.

Матрёна сидела за столом. Прямо, как изваяние. Руки сложены на коленях, лицо — каменное, с поджатыми губами и двумя резкими складками у носа, которые делали её похожей на старуху, хотя ей было всего сорок два. Волосы убраны под чепец, платье — тёмное, траурное, хотя никто не умер. Свеча на столе оплыла, натекла жёлтыми слезами.

— Явился, — сказала она без вопросительной интонации.

— Здравствуй, Матрёна Семёновна, — Бываев повесил

пиджак на спинку стула. — Ты не спишь?

— Сплю, — усмехнулась она. — Уж который год сплю. Вдовый сон. А ты, значит, по трактирам шляешься, денежки пропиваешь, а домой — как на побывку. Квартирные, между прочим, третьего числа платить. Уже пятое. Толоконникова утром поднималась, кричала. «Выселю, — говорит, — к чёртовой матери, и вещи — на улицу». Что ты ей скажешь? Что у тебя муж — алкаш и прощельга?

— Я не пью, — тихо сказал Бываев. — Сегодня выпил две рюмки, не больше.

— Ах, две рюмки! — Матрёна вскочила, опрокинув стул. — Две рюмки! А совесть, Иван, где? А стыд? Ты — бывший околоточный надзиратель! Ты полицейским был! А теперь кто? Кто, я тебя спрашиваю?

— Никто, — ответил он устало. — Ты права. Никто.

Он не стал спорить. Споры с Матрёной были как бой с ветряной мельницей — ты машешь кулаками, а она всё равно перемалывает тебя в муку. За три года он выучил: лучше молчать, кивать и ждать, пока буря утихнет. Буря, впрочем, не утихала никогда.

— Ужин, — сказала она, резко разворачиваясь к плите. — Садись, ешь. Щи вчерашние, хлеб на столе. Если не брезгуешь, конечно, после своих кабаков.

Щи были кислыми, пересоленными и с капустой, которая уже начала отдавать болотом. Но Бываев ел молча, потому что другой еды не было. Где-то за стеной заиграла шарманка

— «Разлуку» или что-то в этом роде, — и жалобная, дребезжащая мелодия поплыла по комнате, смешиваясь с запахом керосина и блёклых обоев.

Он достал из кармана три рубля, положил на край стола. Матрёна глянула, не поворачивая головы, и губы её дёрнулись.

— Это всё?

— Всё, что есть.

— Врёшь.

— Матрёна.

— Ты всегда врёшь, Иван Алексеевич. Ты врёшь с той самой минуты, как уволился со службы. «Найду работу», — врал. «Перебьёмся», — врал. «Я правду искал», — врал, врал, врал! Какая правда, Господи Иисусе? Правда — это деньги. Правда — это чтобы крыша над головой была и дети сыты. А у нас нет ни того, ни другого!

— Детей у нас нет, — напомнил он.

— Вот именно! — закричала она, и в голосе её прорвалось что-то такое, от чего у Бываева сжалось сердце. — Нет! Потому что Господь не дал! А почему не дал? Потому что ты, Иван, грешен! Потому что Господь видит — не будет из тебя отца! Не будет, не будет, не будет!

Свеча моргнула. Шарманка за стеной смолкла, будто подавилась собственной тоской.

Бываев медленно положил ложку. Встал. Подошёл к окну, распахнул створки. В комнату ворвался сырой, зелёный воз-

дух белой ночи — и на миг показалось, что за окном не Фонарный переулок, а берег какой-то неведомой реки, по которой плывут призраки.

— Завтра пойду к приставу Шереметеву, — сказал он, не оборачиваясь. — Попрошусь обратно. Хотя бы околоточным сторожем. Жалованье маленькое, но при деле.

— Шереметев? — Матрёна усмехнулась. — Да он тебя на порог не пустит. Ты у него человек неблагонадёжный. Правдоискатель.

— Пустит. Или не пустит. Но попробовать надо.

— Попробуй, — фыркнула она, убирая три рубля в карман фартука. — Только смотри, Иван Алексеевич, последний раз тебя предупреждаю: если ничего не выйдет — уйду я от тебя. К сестре в Царское. Или в монастырь. Надоело мне с тобой, как с мертвецом жить. Ни тепла, ни ласки, ни надежды.

Бываев повернулся. Посмотрел на жену — на её натруженные руки, на седые пряди, выбившиеся из-под чепца, на усталую, злую, такую знакомую и такую чужую в этот час. И вдруг вспомнил, как двадцать лет назад, в Казани (он родом был оттуда, из мещанской семьи, отец — лавочник, мать — богомолка), встретил её на ярмарке. Молодую, смешливую, в ситцевом платье с ромашками. «Иван, — сказала она тогда, глядя ему в глаза. — Ты будешь меня любить?». «Буду», — ответил он. И ведь любил. По-настоящему. До той самой минуты, когда служба, полиция, обманутое доверие,

увольнение — всё это встало между ними стеной, которую ни пробить, ни перелезть.

— Спать ложись, — сказал он глухо. — Утро вечера мудренее.

Матрёна ничего не ответила. Погасила свечу, прошла в спальню, задернула ситцевую занавеску. Через минуту оттуда донеслось её мерное, тяжелое дыхание. Она уснула. Умела она это — засыпать после скандала, как после доброго ужина.

Бываев остался один. Сел на подоконник, достал из кармана кiset, скрутил папиросу. Закурил. Дым потянулся в белое небо, смешиваясь с туманом.

Напротив, через переулок, в доме с заколоченными окнами, кто-то играл на гитаре. Пьяный голос выводил: «Не уходи, побудь со мною, здесь так отрадно при луне...». Луны, впрочем, не было. И не будет. В Петербурге в конце июня луна пряталась, стыдясь собственной бесполезности.

Мысли его вернулись к сегодняшней сцене. Митрофан Семёныч. Рыжий. Чернявый. Что за публика? Обычные шулера, вымогатели — их в столице как собак нерезаных. Но было в их глазах что-то ещё. Какая-то уверенность, которая не вяжется с дешёвыми сюртуками и заплатанными сапогами. Слишком нагло, слишком слаженно. И окрик «Держи вора!» — не случайный, отработанный. Такие крики, когда вокруг есть кому подхватить.

Бываев затянулся. Выдохнул.

Он знал этот приём. Сам, бывало, кричал «Держи вора!», когда надо было, чтобы толпа сработала как сачок. Но сегодня кричали не городовые. Сегодня кричали те, кто воровал сам.

Гитара смолкла. Голос оборвался на полуслове. И стало тихо — так тихо, что слышно было, как плещется вода в канале, как шуршат крысы в подвале, как дышит, постанывая во сне, Матрёна за занавеской.

Бываев докурил папиросу, затушил о подоконник. Сплюнул в темноту.

Завтра — к Шереметеву. Завтра — разговор. А сегодня — спать. Спать под этот лживый, белый, бесконечный петербургский свет, который не даёт забыться, но и не даёт проснуться по-настоящему.

Он лёг на диван — Матрёна уже давно спала отдельно, «потому что храпишь, Иван Алексеевич, и во сне руками машешь, как полоумный», — накрылся старым драповым пальто вместо одеяла и закрыл глаза.

Через минуту он уже спал.

И снилось ему, что он стоит на посту у Летнего сада, в полной форме, с шашкой на боку, а мимо идут люди, и кланяются ему, и говорят: «Здравствуйте, ваше благородие». А он улыбается и думает: всё хорошо. Всё на месте. Я — нужный человек.

Утро разбило этот сон в щепки первым же звонком — колокольчиком Толоконниковой, которая поднялась с первого

этажа требовать деньги.

Глава 3.

Утро пришло не как положено — с петухами и солнцем, — а как в Петербурге и бывает в конце июня: белая ночь просто чуть-чуть посветлела, сделалась из молочной сероватой, и это сочли утром. Бываев открыл глаза от того особенного, липкого чувства, когда не понимаешь, который час и жив ли ты вообще.

За окном всё та же муть. Фонари уже погасили, но солнце так и не показалось — спряталось где-то за Финским заливом, за дождями и болотными испарениями. В комнате пахло вчерашними щами, кислым табаком и Матрёниным постным маслом — она по утрам мазала им иконы, усердно, как натирают паркет перед приездом начальства.

Матрёна уже возилась у печки. Слышно было, как бряцает заслонка, как шипит что-то на сковороде — похоже, картошка с прошлогодним луком. Жена не оборачивалась, но спиной давала понять: разговора не будет. Ни хорошего, ни плохого. Молчаливая блокада — её любимое оружие. Бываев привык. Несколько лет такой войны приучают не ждать пощады.

Он встал, прошлёпал к рукомойнику в углу. Вода была ледяная — вчерашняя, из ведра. Умылся, фыркая, как морж. Вытерся полотенцем, которое пахло сыростью и стиркой с золой. Оделся: чистая рубаха (слава богу, Матрёна хоть это

делала — стирала, пока он спал), чёрные брюки, сюртук — не новый, но приличный, последний остаток бывшего достатка. Сапоги начистил сам, в прихожей, старым ваксам, который уже превратился в твёрдый, как камень, комок. Выходило плохо, но кто разглядит в белой ночи?

На столе уже стояла кружка кипятка и краюха чёрного хлеба — без масла, без сахара, без даже намёка на чай. Бываев выпил кипяток большими глотками, обжигая горло. Хлеб разжевал медленно, стараясь растянуть удовольствие.

— К Шереметеву пойду, — сказал он в спину жене.

Молчание.

— Сегодня пятница. Он с утра в участке. Должен принять.

Молчание. Только шипение картошки да ложечка, которой Матрёна помешивала в чугушке.

— Может, возьмёт. Хотя бы сторожем. Пять рублей в месяц.

— Семь, — вдруг сказала Матрёна, не оборачиваясь. — Сторожа в Казанской части семь платят. Я узнавала. И казённые дрова.

Бываев чуть не поперхнулся хлебом. Не от суммы — от того, что жена заговорила. И не с руганью, не с криком, а по делу. Значит, ещё не всё потеряно.

— Семь, — согласился он. — Если повезёт.

— А если не повезёт? — Она резко обернулась, и лицо её было — словно икона, с которой слезла позолота: тёмное, измождённое, с глазами, в которых застыло что-то похожее

на жалость. — Если не возьмёт, Иван? Что тогда? В канаву? На панель? Ты мужчина, ты должен.

— Должен, — тихо сказал он. — Знаю.

Она хотела добавить что-то ещё, но только махнула рукой и отвернулась к печке. Бываев допил кипяток, надел сюртук, взял шляпу — старый котелок, купленный ещё до увольнения. Шляпа помнит лучшие времена.

— Вернусь к обеду, — сказал он в дверях.

— Вернись, — ответила она. Без надежды, без веры. Так говорят: «ложись спать» — когда знают, что не уснёшь.

Участок Казанской части находился на Екатерининском канале, в двух шагах от Невского. Здание было массивное, казённое, с чугунными решётками на окнах и гербом над входом. Бываев знал здесь каждую половицу, каждую щербинку на лестнице — три года жизни отдано этому месту, три года крови, пота и унижений.

Он подошёл к дверям ровно в девять. Швейцар — старый отставной солдат Игнатъев, с нашивками за выслугу и вечно красным носом — узнал его сразу.

— Бываев? — Игнатъев прищурился. — Живой, что ли? А мы уж думали, спился ты, Иван Алексеевич. Или помер.

— Живой, Игнатъич. К приставу можно?

— Шереметев? — Игнатъев почесал затылок. — А он не велел тебя пускать, Иван Алексеевич. Сказал: «Если Бываев придёт — гони в шею». Вот такие пироги.

Бываев побледнел. Только этого не хватало — чтобы Ше-

реметев, старый друг, у которого он за пазухой не раз ночевал после пьянок, вот так, с порога, «гони в шею».

— Передать что-то надо, Игнатъич. Важное. — Он незаметно сунул солдату пятак — последний пятак, который выпросил у Матрёны на извозчика, но извозчик был не нужен, он пришёл пешком. — Очень важное.

Игнатъев пятак взвесил на ладони, понюхал, будто деньги имели запах, и кивнул:

— Сиди тут на лавке. Доложу. Но если что — сам виноват.

Солдат ушёл, громыхая сапогами по лестнице. Бываев сел на деревянную скамью в приёмной. Стены были крашены зелёной краской — той самой, казённой, которая лезет со времен Николая Первого. На стенах — портреты государя, объявления о розыске и пожелтевший лист с правилами внутреннего распорядка. Пахло здесь махоркой, гуталином и кислой капустой из солдатской столовой.

Ждать пришлось долго. Минут двадцать. За это время мимо прошли двое городских — молодых, незнакомых, которые посмотрели на него как на пустое место, — и какой-то господин в дорогом пальто, которого Бываев когда-то вытаскивал из кабацкой драки на Сенной. Господин сделал вид, что не узнал. Бываев не обиделся. Не до обид.

Наконец Игнатъев вернулся, шаркнул ножкой:

— Проходи, Иван Алексеевич. Пристав ждёт. Но, — швейцар понизил голос до шёпота, — ты это, не надейся больно. Он не в духе. С утра на ковре у градоначальника был,

вернулся — как чёрт.

Бываев кивнул, поправил галстук и поднялся на второй этаж.

Кабинет пристава Шереметева был большой, угловой, с окнами на канал. Обстановка — спартанская: дубовый стол, на нём колокольчик, чернильница и стопка бумаг. В углу — икона Казанской Божьей Матери, подарок от купечества за усердие. На стенах — карта Петербурга, расписание дежурств и портрет обер-полицмейстера во весь рост.

Сам Шереметев сидел в кресле, наклонившись вперёд, и смотрел в одну точку. Это был мужчина лет пятидесяти пяти, плотный, с седыми бакенбардами и тяжёлым, свинцовым взглядом. Мундир на нём сидел безупречно — три звезды на воротнике, орден св. Анны на шее. Руки — большие, красные, с отёчными пальцами — лежали на коленях неподвижно.

— Здравствуйте, ваше высокоблагородие, — сказал Бываев, останавливаясь у порога.

— Здравствуй, Бываев, — глухо ответил Шереметев. — Проходи, садись.

Бываев сел на краешек стула. Помолчали. Тишина была такая, что слышно было, как по каналу проплывает баржа и как где-то внизу городской матерится на дворника.

— Ну, — сказал Шереметев, не глядя на Бываева, а куда-то в окно, за которым текла мутная, зелёная вода. — Зачем пожаловал?

— Службу просить, ваше высокоблагородие. Хотя бы сторожем. Или писарем. Всё, что дадите.

— Сторожем, — Шереметев усмехнулся. — Коллежский секретарь, бывший околоточный надзиратель, просится в сторожа. Бываев, ты в своём уме?

— В своём, ваше высокоблагородие. Семья, квартира, долги. Надо кормиться.

Шереметев наконец повернул голову и посмотрел прямо в глаза Бываеву. Взгляд у него был тяжёлый — как на допросе, когда надо понять, врёт человек или говорит правду.

— Ты меня подставлять не будешь?

Бываев выпрямился:

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— А в прошлый раз? — Голос Шереметева стал жёстким. — Ты меня подставил, Бываев. Когда полез в дело Кандидова. Я за тебя просил, я тебя отстаивал, я на коленях перед градоначальником ползал. А ты — рапорт на стол, и на все четыре стороны. Думаешь, легко мне было?

— Виноват, — сказал Бываев. — Но я тогда правду искал, ваше высокоблагородие.

— Правду? — Шереметев вдруг засмеялся — глухо, зло, как лает собака на цепи. — Какой правды, Бываев? У нас не правду ищут. У нас порядок держат. Есть приказ — исполняй. Есть начальство — слушайся. А правда... правда она на дне, Иван. В канаве. И тот, кто её ищет, сам туда ложится.

Бываев молчал. Спорить с приставом было себе дороже.

— И у тебя, — Шереметев понизил голос, — ничего не вышло? Правда твоя? Кандидов — он до сих пор при деле, при звёздах. А ты — в отставке, без гроша. И детей у вас нет, я слышал. Жена — богомольная злюка. Квартиру снимаете. Короче, полный... — Он не договорил, махнул рукой. — Так что ты мне скажешь, Бываев? Что правда — спасёт?

— Не спасла, — тихо согласился Бываев. — Но я бы и сейчас поступил так же.

Шереметев помолчал. Потом встал, подошёл к окну, прижался лбом к холодному стеклу. Спина его вдруг стала какой-то ссутуленной, стариковской.

— Знаешь, Бываев, — заговорил он, не оборачиваясь, — я тебя и сейчас бы к делу не взял. Ни сторожем, ни писарём, ни... никем. Потому что ты — опасный человек. Ты не умеешь молчать. Ты не умеешь проходить мимо. А в нашей работе это самое главное — уметь проходить мимо.

— Я научился, — сказал Бываев. — Три года без службы — хорошая школа.

Шереметев повернулся. Посмотрел долго, пристально.

— Ладно. Один разговор у меня к тебе будет. Не за так, разумеется. Поможешь — я тебя устрою. Писарем в архив, восемь рублей в месяц, казённый обед. Идёт?

Бываев встал:

— Всё, что скажете, ваше высокоблагородие.

— Не торопись. — Шереметев сел обратно в кресло, достал из ящика стола папку — тощую, замызганную, с надпи-

сю «Дознание. Дело № 47». — Есть у меня одно дело. Не наше — полицейское. Вернее, наше, но такое, что начальство велело спустить на тормозах. А я не хочу. Слишком воняет.

Бываев молчал. Шереметев открыл папку, вытащил лист бумаги — машинописный, с сургучной печатью.

— Два дня назад на Мойке, возле «Золотого якоря», нашли утопленника. Мужчина, около тридцати, без документов, без признаков насилия. Ну, утоп — и утоп, дело сезонное. Но есть одна странность. — Пристав поднял глаза. — У него на груди была бумажка. Записка. Одно слово: «Должник».

Бываев вздрогнул.

— И что? — спросил он, хотя уже знал, что последует дальше.

— А то, — Шереметев развернул лист, — что сегодня утром нашли второго. На Фонтанке, у Прачечного моста. Тоже утопленник. И на груди — та же записка. «Должник».

Тишина в кабинете стала густой, почти осязаемой.

— Убийство? — спросил Бываев.

— А кто ж его знает, — вздохнул Шереметев. — Вскрытие пока не делали. Но я тебе скажу, Бываев: в Петербурге тонут каждый день. Пьяные, несчастные, разорившиеся. Но чтобы два — и оба с одинаковыми бумажками — за два дня? Это уже не случайность.

Он протянул папку Бываеву.

— Ты знаешь этот город, Бываев. Ты на дне жил три го-

да. Ты знаешь эту публику — ростовщиков, шулеров, тех, кто даёт деньги под расписку, а потом душит. У тебя нюх на таких. Возмись. Неофициально. По старым связям. Узнай, что это за «Должник». Поможешь — я тебя возьму. Твёрдо. Слово даю.

Бываев взял папку. Пальцы его чуть дрожали — от волнения, от голода, от того, что жизнь вдруг снова обрела форму.

— Есть одно условие, ваше высокоблагородие, — сказал он.

— Какое?

— Никто не должен знать. Даже ваши — городовые. Я буду работать сам. И докладывать — только вам.

Шереметев кивнул:

— Идёт. Но смотри, Бываев. Если узнает Кандидов или кто из его людей — я тебя знать не знаю. Сам утонешь — и никто не найдёт. Понял?

— Понял, — сказал Бываев, пряча папку за пазуху. — Спасибо, ваше высокоблагородие.

Он вышел из кабинета, спустился по лестнице, прошёл мимо Игнатьева, который ковырял в носу и делал вид, что ничего не происходит. Вышел на улицу — и там, на крыльце, остановился.

Белая ночь уже отступала, но солнца всё не было. Небо висело низкое, свинцовое, готовое пролиться дождём. Канал пах тиной и смертью.

Бываев открыл папку, перечитал записку — «Должник»

— и вдруг вспомнил вчерашнее.

Митрофан Семёныч. Рыжий. Чернявый.

У них были глаза людей, которые привыкли требовать долги.

Бываев захлопнул папку и быстро зашагал к Фонарному переулку.

Работа началась.

Глава 4.

Бываев вернулся домой не к обеду, как обещал, а далеко за полдень — когда мутное небо над Петербургом начало медленно темнеть, но так и не решило, темнеть ему или нет, и застыло в нерешительности, как чиновник перед подписью. Матрёна встретила его на пороге с половником в руке и с таким лицом, будто собиралась не кормить, а убить.

— Где ты был? — спросила она негромко, и это было страшнее крика.

— У Шереметева, — сказал Бываев, снимая сапоги. — Долго ждал. Разговор был долгий.

— И что? Взял?

Он помолчал, глядя в стену. Папка с делом грелась за пазухой, как живая. Сказать жене? Не сказать? Матрёна была бабой с языком, как помело — всё, что влетало в одно ухо, вылетало из другого, но по дороге успевало облететь всех соседей, квартального надзирателя и даже, кажется, губернатора.

— Взял, — осторожно сказал он. — Но не сразу. На испытание. Неделю. Если справлюсь — оформят.

Матрёна опустила половник. Глаза её, обычно злые и подозрительные, вдруг сделались влажными.

— Не ври, Иван, — сказала она тихо. — Ты всегда врешь, когда боишься.

— Не вру, Матрёна. Честное слово.

— А где деньги? Хоть задаток?

Бываев полез в карман, достал три рубля — те самые, что вчера отдал, и она вернула ему утром «на извозчика и на завтрак». Не из доброты — из горького расчёта: если муж идёт на дело, он должен выглядеть человеком.

— Вот. Задаток. Остальное — через неделю.

Матрёна взяла деньги, повертела их, понюхала — словно могла определить, краденые или нет. Потом спрятала за пазуху.

— Садись есть, — сказала она. — Картошка стынет.

Они пообедали в молчании. Жена не спрашивала, в чём состоит испытание, не лезла с советами. И это было хорошо, потому что Бываев и сам ещё не знал, с какого конца братья за дело. Два утопленника, две записки «Должник», и ни одной зацепки, кроме одной — странной, почти бредовой.

Митрофан Семёныч.

Откуда он взялся? Почему именно вчера, именно у «Золотого якоря» — в двух шагах от места, где нашли первого утопленника? И эти двое — рыжий, чернявый. Слишком наглая погоня для простого оскорбления чести. Слишком отработанный крик «Держи вора!».

После обеда Бываев сказал жене, что пойдёт «походить, подышать», натянул сапоги и вышел. Матрёна посмотрела ему вслед, но ничего не сказала. Только перекрестила в спину — мелко, торопливо, как крестят покойника.

Первым делом Бываев отправился к «Золотому якорю». Трактир днём выглядел иначе, чем ночью: обшарпанный, невзрачный, с облупившейся вывеской, на которой золотые буквы давно превратились в ржавые. Пахло от него прокисшим пивом и жареным луком. Дверь была приоткрыта — внутрь зазывал запах дешёвой еды.

Половой — парень лет семнадцати, в грязной рубаше, с лицом, изъеденным оспой — узнал Бываева. Ещё бы, постоянный клиент, два раза в неделю.

— Здравствуйте, Иван Алексеевич. По обыкновению?

— Не сегодня, Егорка. — Бываев сунул парню пятак — второй и последний, который тайком отжалил от жениных денег. — Поговорить надо.

Егорка пятак ловко спрятал в карман и кивнул:

— Слушаю.

— Вчера, примерно в десятом часу, из твоего заведения выходили трое. Один — низенький, плотный, в цилиндре на затылке. Двое других — рыжий с бакенбардами и чернявый, щека подвязана. Помнишь таких?

Егорка задумался, почесал затылок, потом лицо его прояснилось.

— А, Митрофан Семёныч? Как не помнить. Они здесь почти каждый вечер. Сидят в углу, пьют чай с ромом и разговоры разговаривают.

— Какие разговоры?

— А кто ж их разберёт, Иван Алексеевич? — Егорка по-

низил голос. — Шушукуются, оглядываются. Не наши, видать, люди. Не простые.

— Кто они? Чем промышляют?

— А бог их знает. Митрофан Семёныч, говорят, ростовщичеством баловался. А может, и не баловался. Вокруг него всякие тёмные людишки трутся. Просят чего-то, шепчутся. Он записи какие-то ведёт в книжечке.

Бываев насторожился. Ростовщик. Долги. «Должник» на груди утопленников. Слишком явная связь, чтобы быть случайной.

— А где его найти, этого Митрофана Семёныча?

— А вот этого не знаю, — Егорка развёл руками. — Но сказывали, будто он где-то в Коломне квартирует. Там, за Пряжкой, в глухих местах. Народ там простой, работный. Им как раз ростовщики и нужны — до полочки перехватить.

Коломна. Глухой, полузаброшенный район между Пряжкой и Фонтанкой, где жили мастеровые, чернорабочие, прачки и прочий бедный люд. Место, где каждый рубль на счету, где долг в пять целковых может разорить семью на месяц, а то и навсегда.

Бываев поблагодарил Егорку, вышел из трактира и направился к Коломне.

Шёл он не спеша, перекидывая в голове то, что знал. Два утопленника. Две записки. Один ростовщик по кличке Митрофан Семёныч. Вопросов было больше, чем ответов.

Первый труп нашли у «Золотого якоря» — там, где оши-
вается этот самый Митрофан. Второй — у Прачечного мо-
ста, на Фонтанке. Разные места, но одна рука. Если ростов-
щик убивал своих должников, то зачем? Чтобы запугать дру-
гих? Чтобы не платили? Глупо. Мертвецы долги не возвра-
щают. Разве что Митрофану нужна была не столько распла-
та, сколько *показательная* расправа.

Мысль была неприятной, и Бываев отогнал её.

Коломна встретила его запахами — дешёвых щей, кон-
ского навоза и дегтя. Дома здесь стояли кривые, с покосив-
шимися крышами, окна были завешены грязными тряпками
вместо занавесок. Мостовая — булыжная, с огромными лу-
жами, в которых плавали окурки и дохлые крысы. На ули-
цах было пустынно — только дворники с метлами, несколь-
ко мастеровых в засаленных фартуках да бабы с корзинами,
бегущие на рынок.

Бываев свернул в один из переулков — узкий, вонючий, с
доходными домами, из которых постоянно выносило звуки:
детский плач, мужская брань, женский истерический смех.
Жизнь здесь текла по своим, неведомым столичным чинов-
никам законам.

Он заметил будку городского — на углу, под фонарём — и
направился туда. Городовой оказался молодым, усатым, сон-
ным. Звали его, судя по нашивке, Гордеев.

— Здравия желаю, ваше благородие, — козырнул городо-
вой, увидев в Бываеве человека в сюртуке и шляпе. — Чем

могу?

— Околоточный надзиратель Бываев, Казанская часть, — соврал Бываев с лёгким сердцем. — По делу. Знаешь ли ты в этой округе человека по прозвищу Митрофан Семёныч? Невысокий, плотный, с лицом как мокрая подушка. Цилиндр носит.

Городовой задумался. Потом лицо его прояснилось.

— А, Митрофан? Это который ростовщик? Как же, знаю. Живёт он тут, в доме купчихи Толоконниковой, в подвале.

Бываев чуть не поперхнулся.

— В каком доме?

— Двенадцать по Фонарному. А что? Ваше благородие, вы как-то побледнели.

Бываев не ответил. Он развернулся и почти побежал обратно.

Дом номер двенадцать по Фонарному переулку.

Его дом.

Их дом с Матрёной.

Тот самый, где снизу, под ними, жила купчиха Толоконникова — грузная, скупая, нервная. Та самая, которая требовала платить строго первого числа. Теперь выяснилось, что в *подвале* того же дома живёт ростовщик Митрофан Семёныч — человек, которого Бываев обмочил в кустах, а потом упустил.

Судьба — злая насмешница.

Бываев поднялся на второй этаж, дрожащими руками от-

крыл дверь. Матрёна сидела на кухне, чистила картошку. Увидела мужа — белого, с горящими глазами — и выронила нож.

— Иван? Что с тобой? Тебя ударили? Ограбили?

— Тише, — сказал он, закрывая дверь на засов. — Ничего не спрашивай. Собирай вещи.

— Какие вещи? — Матрёна вскочила. — Ты в уме, Иван Алексеевич? Что случилось?

— В подвале этого дома живёт человек, который, возможно, убил двоих. Я его вчера... — Он замолчал, сглотнул. — Я вчера на него попал в кустах. Он меня видел. И его дружки — видели. Если они свяжут меня с полицией...

Матрёна перекрестилась широко, размашисто.

— Господи Иисусе! А я-то, дура, радовалась, что ты службу получил! А ты — в убийцы полез! В самую пасть!

— Я не полез, — зашипел Бываев. — Меня попросили. Шереметев. И если я сейчас это дело брошу — он меня на порог не пустит. А если я пойду дальше — они меня найдут. Потому что живём над ними. Понимаешь? Над ними.

Матрёна села на табурет, схватилась за сердце.

— Что ж теперь делать, Господи? Куда бежать? Денег нет, знакомых нет. Иван, ты нас погубил!

— Не паникуй, — сказал Бываев, хотя сам был близок к панике. — Пока они не знают, что я бывший полицейский. И не знают, что я веду дело. У нас есть время.

— Сколько?

— Не знаю. День. Два. Неделю.

— А если они узнают? — Глаза Матрёны расширились. — Что тогда? Найдут? Убьют? В канаву бросят как... как тех? С запиской «Должник»?

Бываев не ответил. Он подошёл к окну, выглянул во двор. Внизу, у подъезда, стоял рыжий. Тот самый — с бакенбардами-лопатами. Стоял, курил, смотрел на окна второго этажа.

Искал кого-то.

Или кого-то ждал.

Бываев резко отшатнулся, задернул занавеску.

— Ложись спать, — сказал он жене. — И не выходи на улицу до вечера.

— А ты?

— А я пойду в гости. Вниз. Познакомлюсь с соседом.

Матрёна закричала было, но он зажал ей рот ладонью:

— Тише, говорю! Если я сейчас не пойду — они придут сами. А так — я просто любопытный жилец. Узнаю, что за человек. Выведаю. Может, это и не он вовсе. Может, всё случайно.

— Случайно? — прошептала жена из-под его ладони. — Два утопленника — случайно? Ростовщик в подвале — случайно? Иван, ты не в себе!

— Может быть, — согласился он. — Но другого выхода нет.

Он переоделся в старую, мятущую рубаху — чтобы выглядеть проще, беднее, ближе к народу. Надел опорки вме-

сто сапог. Взял в руку бутылку с керосином — не для того, чтобы пить, а для того, чтобы создать образ: мол, свой человек, за керосином к соседу спустился, одолжить.

Матрёна смотрела на него, как на самоубийцу.

— Иван, — сказала она вдруг тихо, почти ласково — так, как не говорила года три. — Вернись живым. Ладно?

Он кивнул, не оборачиваясь.

— Постараюсь.

И вышел вон.

Глава 5.

Лестница в подвал была крутой, скользкой и пахла так, будто здесь сто лет не проветривали и хоронили кошек прямо под ступенями. Бываев спускался медленно, считая шаги, — чтобы не оступиться, чтобы привыкнуть к темноте, чтобы услышать, есть ли кто внизу. Бутылка с керосином холодила пальцы, рубаха прилипла к спине — не от жары, а от того особого, звериного пота, который выступает, когда идёшь навстречу опасности.

Он постучал. Три раза — коротко, вежливо, как стучат к соседу по жилью, а не к ростовщику с двумя трупами за спиной.

Дверь открылась не сразу. Сначала за ней что-то зашуршало, потом кто-то тяжело вздохнул, потом щёлкнул замок — дешёвый, сундучный, с заусенцами. На пороге возникла фигура. Не Митрофан Семёныч. Другая — высокая, худая, в женском платье, но с лицом, на котором женского не было ничего: квадратная челюсть, щетина, глубоко посаженные глаза.

— Чего надо? — спросила фигура голосом, похожим на скрип несмазанной телеги.

— Керосину одолжить, — сказал Бываев, поднимая бутылку. — Своя кончилась, а до лавки далеко. Я сверху, из двенадцатой квартиры. Сосед.

Фигура помолчала, разглядывая его. Потом дверь распахнулась шире:

— Заходи. Только керосину у нас нет. Есть чай. Будешь?
Бываев шагнул внутрь.

Подвал оказался больше, чем он ожидал. Две комнаты — первая, проходная, с печкой-временкой и длинным столом, заставленным грязной посудой, и вторая, за ситцевой занавеской, откуда доносилось тяжёлое, с присвистом дыхание — кто-то спал. Воздух здесь был спёртый, с примесью кислой капусты, махорки и ещё чего-то сладковато-приторного — ладана? Или опиума? Бываев принюхался. Опиум, точно. Он умел отличать этот запах по старой памяти — в Казанской части были свои любители.

В первой комнате за столом сидел рыжий. Тот самый — с бакенбардами-лопатами. Он держал в руке стакан с мутной жидкостью и смотрел на Бываева без удивления, но с интересом — так смотрят на мышь, которая сама пришла в мышеловку.

— Здорово, сосед, — сказал рыжий, не вставая. — А я тебя вчера в кустах видел. Шустрый ты, дёру дал. Я чуть ноги не сломал, пока за тобой бежал.

Бываев побледнел, но взял себя в руки.

— Извините, господа, — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Вчера вышел конфуз. Я не нарочно. Выпил лишнего, наделал глупостей. Каюсь. Примите мои извинения и, если позволите, угощение.

Он полез в карман и достал то, что взял из дома тайком от Матрёны, — полбутылки казёнки, которую хранил под половицей для особых случаев. Рыжий глазами сверкнул, фигура в женском платье облизнулась.

— Это дело, — сказал рыжий. — Садись. Митрофан Семёныч сейчас выйдет. Он у нас почивает после обеда. А мы пока познакомимся. Меня — Прокофий зовут. Это, — он кивнул на фигуру, — Ипатий. По документам — мещане, а по жизни — кто бог пошлёт.

Бываев сел на шаткую табуретку, поставил бутылку на стол. Ипатий тут же схватил её, откупорил зубами — аккуратно там, где не хватало передних, — и разлил по стаканам. Жидкость была мутной, вонючей, но Прокофий пил с удовольствием, крякая после каждого глотка.

— А вы чем промышляете, господа? — спросил Бываев, стараясь, чтобы вопрос звучал небрежно.

— Разным, — уклончиво ответил Прокофий. — Деньги одалживаем кому надо. Проценты берём небольшие — совестливые. Сами, поди, в нужде бывали? Перехватить до полочки?

— Бывало, — сказал Бываев. — И не раз.

— Ну, вот и мы помогаем. Дело богоугодное. — Прокофий хохотнул, обнажив жёлтые лошадиные зубы. — А ты кто сам будешь, сосед?

— Бываев Иван Алексеевич. Коллежский секретарь, в отставке. — Он решил сказать правду — отчасти. — Служил в

полицей, да прогнали. За правду, как водится. Теперь мыкаюсь, перебиваюсь с хлеба на квас. Жена пилит, квартирная хозяйка грозит выселить. Обычная история.

Прокофий переглянулся с Ипатием. Взгляды у них стали другими — более внимательными, что ли.

— Полиция, значит, — протянул рыжий. — А сейчас тоже скучаешь по службе? Или приспособился к гражданской жизни?

— Скучаю, — честно сказал Бываев. — Но назад не зовут. Я человек подмоченной репутации.

Ипатий хмыкнул в бороду. Прокофий налил себе ещё и выпил не спеша, как пьют люди, которые привыкли взвешивать каждое слово перед тем, как его сказать.

— А мы могли бы тебе работёнку предложить, — сказал он вдруг. — Не пыльную. Денежную. Ты же город знаешь, людей знаешь. Связи, поди, остались?

Бываев насторожился. Западня? Или действительно предлагают? И то и другое.

— Какие связи? — спросил он. — Меня бывшие сослуживцы стесняются, как прокажённого. Да и сам я с ними не общаюсь — гордость не позволяет.

— А ты гордость в зубы, — посоветовал Прокофий. — Гордость — она для богатых. А мы люди бедные, нам связи нужны. Скажем, узнать что про человека: где живёт, где работает, сколько зарабатывает, на что тратит. Такие услуги, знаешь, востребованы.

Бываев медленно кивнул.

— Понимаю. Кредитные дела. Оценка благонадёжности заёмщика.

— Ты башковитый, — одобрил Прокофий. — Митрофану Семёнычу такой человек как раз нужен. Поговори с ним, когда выйдет. А пока пей, сосед. За знакомство.

Он пододвинул стакан с мутной жидкостью. Бываев взял, понюхал. Пахло сивухой, но, кажется, без примесей — не отравя. Он сделал маленький глоток, обжёг горло, закусил корочкой хлеба — специально взял из дома, чтобы выглядеть по-свойски.

Прокофий посмотрел на него, усмехнулся и вдруг спросил:

— А не боишься, Иван Алексеевич? Питое-еденое у незнакомых людей? У нас тут, знаешь, всякие ходят. Исчезают потом. В каналах находят.

Бываев выдержал взгляд.

— Боюсь, — сказал он. — Но что поделать? Жрать хочется. А смерть... смерть она и так за каждым углом стоит. У нас, в Петербурге, каждый третий умирает не своей смертью. А кто считал?

— Любопытный ты, — заметил Прокофий. — Опасное качество.

— Жизнь заставляет, — ответил Бываев и сделал ещё глоток.

Из-за ситцевой занавески донеслось кряхтение, затем

шарканье туфель, и на пороге появился сам Митрофан Семёныч. Он был в халате — засаленном, малиновом, с кистями — и в ночном колпаке, что придавало ему сходство с голевским персонажем, дожившим до своих лучших времён. Лицо его было помято, глазки заплаыли ещё больше, чем вчера, и он щурился, как филин на свету.

— Кто тут? — спросил он сиплым голосом. — Прокофий, кого привёл?

— Сосед сверху, Митрофан Семёныч, — доложил рыжий. — За керосином пришёл. Из двенадцатой квартиры. Бываев Иван Алексеевич, коллежский секретарь в отставке.

Митрофан Семёныч уставился на Бываева, и в его заплаывших глазах мелькнуло узнавание — а за ним страх, быстро спрятанный под маску радушия.

— А-а-а, — протянул он. — Вчерашний... знакомец. Садись, садись, гостем будешь. Ты извини, что мы вчера так некрасиво вышли. Перепили, погорячились. Взаимные обиды — дело житейское. Мир?

Он протянул пухлую, потную ладонь. Бываев пожал её — рука была холодной и липкой, как сырая рыба.

— Мир, — сказал Бываев. — Я пришёл извиниться. И поговорить.

— О чём? — Митрофан Семёныч сел на лавку напротив, хлопнул себя по коленям. — О делах? Прокофий мне уже нашептал. Работу ищешь?

— Работу, — кивнул Бываев. — Любую, где платят.

— А полицию не боишься? — Митрофан Семёныч уставился на него в упор. — Вдруг узнают, что ты на ростовщиков работаешь? Это дело неблагоприятное.

— Мне терять нечего, — сказал Бываев. — Репутация — в дерьме. Жена — на грани развода. Долги — по горло. За три рубля готов отца родного заложить, не то что соседа.

Митрофан Семёныч рассмеялся — мелко, противно, как смеются люди, которые привыкли смеяться над чужим горем.

— Нравишься ты мне, Иван Алексеевич, — сказал он. — Отчаянный. А отчаянные люди — они или быстрее всех доходят до дна, или богатеют. Попробуем с тобой побогатеть.

Он хлопнул в ладоши. Ипатий, стоявший у стены, метнулся куда-то в угол и вытащил из-под кровати деревянный ящик. Открыл. Там лежали бумаги — аккуратные стопки, перевязанные бечёвкой. Митрофан Семёныч вытащил одну, развернул.

— Видишь? — Он ткнул пальцем в столбец цифр. — Должники. Двадцать человек. Адреса, имена, суммы. Нам нужно, чтобы ты, Иван Алексеевич, прогулялся по этим адресам и посмотрел: кто где живёт, чем дышит, с кем водится. Много ли у них имущества, нет ли планов скрыться. Понял?

Бываев взял бумагу, пробежал глазами. Знакомых фамилий не было. Но были адреса — по всему Петербургу, от Лиговки до Васильевского острова. И суммы — от пяти рублей до пятидесяти.

— А если я увижу, что кто-то готовится бежать? — спросил он.

— Тогда сразу ко мне, — сказал Митрофан Семёныч, и голос его стал вдруг стальным, как лезвие. — И мы вместе решим, как поступить. Только никому ни слова, Иван Алексеевич. Ни жене, ни друзьям, ни случайным прохожим. Это наш с тобой маленький секрет. А за секреты, знаешь, — он наклонился к самому уху Бываева, — у нас строго.

— Понял, — сказал Бываев, пряча бумагу за пазуху рядом с папкой Шереметева. Сердце колотилось так, что, казалось, Митрофан Семёныч слышит этот стук.

— Сколько платишь? — спросил он спокойно.

— За одного — полтинник. За десять — пять рублей. За двадцать — десять. Срок — неделя. Как?

— Идёт, — сказал Бываев и встал. — Я пошёл.

Митрофан Семёныч тоже встал, положил руку ему на плечо — тяжёлую, давящую.

— И ещё, Иван Алексеевич, — сказал он вкрадчиво. — Ты, главное, не ври мне. Я враньё чую за версту. Если обманешь — сам знаешь, что будет. Мы люди простые, но умелые. И друзья у нас есть — и в полиции, и в других местах.

Бываев кивнул, не глядя в глаза.

— Не обману, — сказал он. — Дороже себе выйдет.

Он вышел вон, поднялся по скользкой лестнице, прошёл мимо собственной квартиры — не заходя, чтобы Матрёна не начала расспросов, — и выскочил на улицу. Там, присло-

нившись к холодной стене дома, перевёл дыхание.

В руках у него был список должников Митрофана Семёныча. Возможно, будущих жертв.

Он вытер пот со лба и зашагал к Екатерининскому каналу — к участку Шереметева.

Пристав был в кабинете один, пил чай из стакана с подстаканником и читал «Петербургский листок». Увидев Бываева, отложил газету.

— Живой? — спросил он. — А я уж думал, тебя на первом же шагу пришили.

— Пока нет, — сказал Бываев, доставая список. — Посмотрите, ваше высокоблагородие.

Шереметев взял бумагу, прочитал, и лицо его сделалось сосредоточенным.

— Двадцать фамилий, — сказал он. — Откуда?

— От ростовщика, который живёт у меня в подвале. Митрофан Семёныч. Он меня нанял — проверять должников.

Шереметев присвистнул.

— Это удача, Бываев. Не просто удача — подарок судьбы. Если мы проверим этих людей, возможно, найдём тех, кто уже... — Он не договорил, но Бываев понял. — Но будь осторожен. Очень осторожен. Если он заподозрит...

— Знаю, — сказал Бываев. — Что мне делать с утопленниками? Их личности установили?

Шереметев покачал головой.

— Первый — неизвестен. Второй — тоже. Ни докумен-

тов, ни вещей. Записка «Должник» — единственная зацепка. И теперь у нас есть список потенциальных должников. Может быть, среди них — следующий.

Он помолчал, потом добавил:

— Но есть ещё одна новость, Бываев. Сегодня утром нашли третьего. В Обводном канале. Та же записка. «Должник».

Бываев побледнел.

— Трое за три дня? Это уже не ростовщик, это серийный убийца.

— Или не убийца вовсе, — возразил Шереметев. — Может, они сами топились от отчаяния. Долги, проценты, угрозы — в Петербурге каждый год человек десять так делают. Но записки... Записки — это уже не совпадение.

Он встал, подошёл к карте, висящей на стене.

— Смотри, Бываев. Первый — Мойка, «Золотой якорь». Второй — Фонтанка, Прачечный мост. Третий — Обводный. Все разные места, но все — в пределах центра. И все — недалеко от жилья этого твоего Митрофана. Совпадение?

— Не думаю, — сказал Бываев. — Но нужны доказательства.

— Добудь, — приказал Шереметев. — Времени у тебя — до послезавтра. Потом начальство прикажет закрыть дело — как невыгодное. А я не хочу закрывать. Слишком воняет.

Бываев поклонился, вышел из кабинета и направился в архив — посмотреть списки пропавших без вести.

Работа только начиналась.

Глава 6.

Архив Казанской части помещался в подвале — ещё более сыром и мрачном, чем жилище Митрофана Семёныча. Сюда не доходил ни белый ночной свет, ни дневной, ни даже газовый — вместо них горела единственная керосиновая лампа под потолком, чадила и коптила, превращая воздух в липкую жёлтую взвесь. Пахло здесь крысами, плесенью и той особенной кислятиной, которая бывает только в местах, где бумаги гниют быстрее, чем люди.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.